

Общественно-политический деятель России Александр Николаевич Яковлев в книге "Омут памяти" (Москва, 2000) рассказывает о больших интеллектуальных утратах России в 20-е годы, когда Россию покинули тысячи виднейших представителей отечественной интеллигенции и 160 профессоров, философов, историков, литераторов, общественных деятелей, изгнанных по спискам Москвы, Петербурга и Украины. Тогда "тяжелый урон понесла историческая наука: большевики выслали Кизеветтера, Флоровского, Мельгунова и других".

Все они, по выражению А. Флоровского, отдали себя служению "русской науке, русскому достоинству, русскому имени". Выступая на Третьем съезде русских ученых в Праге, состоявшемся 25 сентября — 2 октября 1924 года, А. Флоровский отмечал: "Пребывание многих десятков русских ученых за границей в различных центрах научной работы в вынужденной для них м(ожет) б(ыть)... научной командировке должно быть залогом возможно более быстрого восстановления нормальной жизни и деятельности в России (когда она освободится от советской власти и вновь оживет)".

Ныне имена русских ученых зарубежья стали широко известны, они вошли в новейший "Большой энциклопедический словарь", во "Всемирный биографический энциклопедический словарь", и особенно в фундаментальное издание "Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь" (Москва, 1997). Вслед за этим вышел в свет биографический словарь "Профессоры Одесского (Новороссийского) университета" (Одеса, 2000).

В настоящее время имя Антона Васильевича Флоровского пребывает как бы в тени имени его младшего брата Георгия, приобретшего мировую славу философа-богослова, к очередному юбилею которого готовится научная общественность Одессы. Пора краоведам вспомнить и о профессоре А.В. Флоровском, юбиляре в 2004 году.

Профессор А.В. Флоровский отмечал, что в свое время он "немало писал по истории города Одессы и по истории целого края "Новороссийского". Если бы собрать теперь все эти работы, то получился бы порядочный сборник этюдов по истории края за столетие от 1763 до 1863 г.". Тут же он выражал надежду, что его работы послужат материалом для дальнейших исследований по той же проблематике.

Наконец-то "Історія Одеського університету" (1865-2000) признает, что "праці Флоровського набули широкого використання серед дослідників наступних поколінь".

Пациент из моего детства



Когда на суд безмолвных тайных дум
Я вызываю голоса былого, —
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.
Из глаз, не знавших слез, я слезы лью
О тех, кого во тьме таит могила,
Ищу любовь, погибшую свою
И все, что в жизни мне казалось мило.
Веду я счет потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой.
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды.

В. Шекспир.
Сонет

Консультативный прием в поликлинике Областной больницы шел к концу, интервалы между пациентами становились все продолжительнее, затем и вовсе наступила пауза. Помогавшая мне медсестра заторопилась домой и начала бесшумно укладывать инструментарий в застекленный медицинский шкаф. Я вопросительно взглянул на нее и услышал в ответ, что в приемной остался всего один мужчина, что сидит он уже давно и даже пропустил всех, кто пришел значительно позже него. С подобным странным поведением больных мне приходилось сталкиваться и раньше: обычно так поступали те, кто желал получить возможность без помех побеседовать со мной, подробно рассказать о своей болезни и затем, не спеша, выслушать мои рекомендации. Мне было ясно, что разговор предстоит продолжительный, поэтому позвонил к себе в отделение, что задерживаюсь в поликлинике, но обязательно вернусь позже и зайду в послеоперационные палаты.

Вскоре дверь кабинета приоткрылась, и я услышал обычный вопрос: "Разрешите войти?". Голос посетителя, которого я еще не сумел хорошо разглядеть в полумраке быстро наступивших сумерек, показался мне удивительно знакомым, знакомым чуть ли не с детства. Последовавшие за этим слова приветствия: "Здравствуй, Боря!" подтвердили мою догадку — передо мной стоял Григорий Маркович, бывший директор моей школы,

именно так он когда-то отвечал на мое приветствие, когда я ненароком встречался с ним в коридоре школы. И именно так — по имени, а не по фамилии, он обратился ко мне на выпускном вечере, вручая аттестат о среднем образовании, что произошло за сорок лет до нашей нынешней встречи. Мы обнялись, я усадил его в кресло и сам сел напротив. Мы долго молча смотрели друг на друга, поражаясь изменениям, происшедшим во внешности каждого из нас. Тем временем в мозгу непроизвольно происходила корректировка хранившегося в глубинах памяти "портрета", и спустя уже несколько минут пришла уверенность, что напротив находится хорошо знакомый человек, и более того, за прошедшие годы он очень мало изменился. Возникшая вначале напряженность прошла, и вскоре мы начали обмениваться обычными в подобной ситуации вопросами:

- А ты помнишь?..
- Конечно, помню! А вы, Григорий Маркович, помните?
- Разумеется, помню. Как сложилась твоя, Боря, жизнь в годы войны?
- От начала и до самого конца войны был на фронте, а вы?
- Я также воевал. А как поживает твоя жена?
- Целя в прошлом году во второй раз стала бабушкой.
- Как бегут годы: ваша дружба вызывала тревогу педагогов школы.
- Я всегда высоко ценил вашу мудрость, когда вы распорядились "оставить нас в покое".

Однако оживленный диалог начал довольно быстро угасать, и не потому, что вопросы были исчерпаны, просто мы вспомнили о главной цели прихода ко мне Григория Марковича: в его руках был объемный сверток с рентгенограммами и анализами. Я пересел на свое обычное место на противоположной стороне письменного стола, включил негатоскоп и принялся рассматривать содержимое свертка. По мере того как я изучал рентгеновские снимки, мною овладевала все большая и большая тревога — я обнаружил признаки болезни, которая, в случае ее подтверждения, диктовала необходимость сложной и срочной операции.

По возможности в самой деликатной форме, не упоминая об операции, я постарался разъяснить Григорию Марковичу причины, побудившие меня рекомендовать ему немедленно лечь в больницу и подвергнуться дополнительному обследованию. Он, вроде бы, понял меня правильно и пообещал прийти через несколько дней. Но, уходя, он произнес слова, поколебавшие мою уверенность в том, что мне, хотя бы отчасти, удалось успокоить его: "Я хочу, чтобы ты знал, Боря: если мне предстоит операция (а, по-видимому, к этому идет дело), я доверюсь только тебе".

После его ухода я так и не поднялся в отделение и еще долго сидел в тишине и полумраке кабинета, погруженный в воспоминания, пока явно раздраженная санитарка не вошла с решительным видом, держа в руках ведро и швабру.

Воспоминания о детстве, о школьных годах не покидали меня и дома, они тесно переплелись с воспоминаниями о событиях, происходивших в нашем молодом тогда государстве, которое всего на четыре года было старше меня.

Об этом я попытаюсь правдиво рассказать...

Знакомство с необъятным окружающим миром "городское дитя" начинается с изучения дома, в котором живет. Мой дом был выстроен, судя по надписи на фронтоне, в 1903 году. В то время в зданиях, возводимых в центре Одессы, уже отказались от ранее широко распространенной планировки, когда вход в квартиры осуществлялся через деревянные галереи, опоясывающие со стороны двора его стены. Новая конструкция предусматривала разделение флигелей лестничными клетками, именовавшимися "парадными ходами". Соответственно этому названию лестницы в них делались из мрамора. Кроме того, в каждой квартире был и "черный ход", оснащенный металлическими лестницами, они использовались для хозяйских нужд и опускались во второй двор, который назывался "черным".

Получив разрешение спуститься во двор, я неизменно слышал мамини слова: "Не вздумай высунуть нос за ворота!". Моя милая добрая мама всегда догадывалась о моих самых потаенных желаниях. Но как было трудно удержаться от соблазна выйти на улицу, ведь то была Большая Арнаутская!.. Влево от ворот она достигает обрыва у моря, где находился большой санаторий, носивший имя поэта Лермонтова, его стихотворение "Белеет парус одинокий" я пытался выучить наизусть. Ну, а вправо от ворот, прямая, как полет стрелы, улица уходила далеко-далеко, до самого горизонта. Моя бабушка, которая из Одессы никуда не выезжала, но, тем не менее, все знала, авторитетно заявляла, что если ехать по нашей улице, никуда не сворачивая, то можно приехать "аж в Киев!". По-видимому, она была права, и я убедился в этом значительно позднее: автомашины с киевскими номерами, привозившие в наш город именитых гостей, всегда двигались по Большой Арнаутской в сторону санатория им. Чкалова, где располагалась правительственная резиденция.

Сбегая по лестнице, а нередко и съезжая на животе по перилам, я неиз-

менно делал остановку на втором этаже и стучал в дверь квартиры, в которой жил мой закадычный друг Буся. Обычно мне открывала его мама, которая, к сожалению, не была столь демократична, как моя, и старалась убедить сына от вредного влияния улицы. На мою просьбу выпустить Бусю она отвечала отказом, мотивируя его тем, что он как раз складывает игрушки или еще не закончил завтрак. Из квартиры раздавались вопли моего бедного друга, пытавшегося опровергнуть слова Клары Борисовны, но она поворачивала голову в сторону комнаты и говорила: "Я лучше знаю, чем тебе следует заниматься, — читай букварь!". Вероятно, в действиях Клары Борисовны имелся определенный резон. За восемьдесят лет нашей дружбы я из уст своего друга, соученика по школе, одноклассника по институту и коллеги по профессии, ныне врача-пенсионера Бориса Григорьевича Молодецкого, ни разу не слышал ни ругательства, ни, вообще, нецензурного слова. Впрочем, когда мы недавно обсуждали этот вопрос, он признался, что иногда все-таки ругается, но только мысленно. Спрашивается, какое удовольствие может доставить такая ругань?!

Между тем "улица", несомненно, развивает в ребенке многие ценные качества: смелость, находчивость, умение постоять за себя. Дабы не быть голословным, приведу лишь один пример. В 1941 году, когда я уже был на фронте, на крышу нашего дома упало несколько зажигательных бомб. Среди взрослых не нашлось никого, кто поступил бы правильно в создавшемся критическом положении. Лишь уличный мальчишка Петька, сын прачки тети Даши, нашел в себе мужество подняться на крышу по пожарной лестнице и сбросить "зажигалки" во двор, где их присыпали песком. Какой же воспитательный метод лучше? Очевидно, однозначного ответа на этот вопрос нет.

Оба двора нашего дома были до отказа заполнены шумной ватагой моих сверстников. Страна только начала восстанавливаться после следовавших одна за другой войн, революций, оккупаций, интервенций и нашествий, и мои дорогие земляки-одесситы начали эту борьбу с разрухой с самого главного — с восстановления поубавившегося числа жителей города.

В большом четырехэтажном доме было множество подвалов, чердаков и других потаенных мест для реализации детских замыслов и фантазий. Однако был человек, в значительной мере ограничивавший активность детворы. Это был дворник Лаврентий Валентинович Гарматюк, по-нашему, по-ребячьи — Лаврик. Он достался нам в наследство от бывшего владельца дома и жил в небольшой дворничьей, которую нетрудно было опделить по висевшему над окном колокольчику, к которому был протя-

нут металлический тросик от ворот. Лаврик слово "дворник" и, наверное, это совершенно справедливо, понимал как "заботящийся о дворе" и, соответственно, с рассвета начинал его убирать. После тщательной уборки двора он переходил к прилегавшей к дому территории улицы, а, покончив с уборкой, он приступал к "несению караульной службы". Стоило какому-нибудь неизвестному посетителю войти во двор, или, того хуже, попытаться выйти из него, да еще с пакетом или сумкой в руках, как Лаврик немедленно начинал допытываться, к кому или от кого посетитель идет и что у него в руках. Возможно, благодаря его добросовестности в нашем доме не было квартирных краж.

В поле зрения Лаврика попадали и малолетние озорники. Отлично помню, как он громким рыком парализовывал мои попытки одолеть пожарную лестницу до самой крыши: "Борка (он почему-то игнорировал мягкий знак), ты опять на лестнице! А вот я сейчас возьму метлу и...". Он также утихомиривал нас, когда наш гомон начинал превышать переносимую соседскими ушами громкость, и на корню зарубил идею проведения футбольного матча между парадным и черным дворами как весьма опасную для окон дома.

Однообразие жизни двора нарушали представители "сферы услуг на дому". Самым ранним из них был пожилой мужчина в потрепанной армейской шинели и шапке-ушанке, который звонким голосом (подозреваю, что в детстве он пел в синагогальном хоре), нараспев провозглашал: "Стары-ы-ы... вещи-и-и... покупа-а-а-а-ю!". Вторым был черноволосый мужчина с лихими казацкими усами. Он тоже нараспев произносил: "Пая-я-ям... починя-я-ям... ведра-а-а... кастрю-у-у-ули!". За спиной у него был металлический ящик с инструментами и свертком оцинкованного железа. Он ловко, без предварительной разметки вырезал кружок для нового днища и точными ударами молотка дважды загибал его край вокруг края стенки ведра, образуя так называемый "двойной замок". Хозяйка ведра восхищенно говорила: "Ну и молодец же вы, Николай, ведро как новое!", на что он неизменно отвечал не без гордости: "Не первый год работаем!". Следующим посетителем был шарманщик. Выбрав место у пожарной лестницы, откуда он мог обозревать все балконы, с которых ему сбрасывали медяки, владелец этого старинного инструмента начинал вращать ручку, извлекая из него заунывные тягучие звуки. Прежде всего исполнялась французская песенка "Шарман Катрин", которая и явилась основанием того, чтобы в России этот переносной органчик называли "шарманкой", а в Украине — "катеринкой". Затем звучали еще один-два старинных

вальса, после чего артист переходил к завершающей фазе представления. Ее с нетерпением ждали молоденькие девушки, объединенные недавно в профсоюз домашних работниц (этот термин вытеснил унижительное "прислуга"). В большинстве это были белокурые опрятно одетые немки, жительницы окружающих Одессу поселений Гросс-Либенталь, Люстдорф и др. Они высоко ценились за честность, аккуратность и скромность (в последнем я, правда, начал с возрастом сомневаться). Их крайне интересовал вопрос, касающийся возможных женихов. Заключительный акт выступления в том и состоял, что ученый попугай извлекал туго скатанную бумажную трубочку, в которой черным по белому была обозначена судьба девицы, за что юная дама платила шарманщику сущую ерунду: 15-20 копеек.

В конце лета жильцы дома приступали к заготовке топлива. Дрова и уголь завозили на широко распространенной в Одессе "площадке", запряженной парой лошадей. Возница издавна именовался "биндюжником". Обычно это был физически очень крепкий человек, не скупившийся на употребление соленого словца, а если придется — то и кулаков. Биндюжники были объединены транспортной конторой "Местранс", самая сильная футбольная команда города состояла тогда в спортивном клубе этой организации. Широкой известностью и любовью одесситов пользовались футболисты брата Штраубы, вратари Москвин и Трусевич и, конечно, могучий хавбек Злочевский, любовно именуемый болельщиками "Злот". Многие готовы были клятвенно подтвердить, что в одном из матчей он своим знаменитым пушечным ударом сразил насмерть турецкого вратаря. Другие утверждали, что "видели собственными глазами", как мяч, запущенный Злотом, пробил сетку ворот.

Домовладельцы, предвидя необходимость доставки топлива на площадках, устанавливали у ворот массивные круглые гранитные столбы, зарывая их глубоко в грунт. Подобно Геркулесовым столпам в Гибралтаре, охранявшим во времена античности вход в Средиземное море, эти столбы предотвращали повреждение ворот и стен подъезда. Пройдя столбы, биндюжник благополучно въезжал в черный двор и довольно быстро сгружал один-полтора кубометра дров и полтонны угля, которые он сыпал на землю, приподняв могучим плечом противоположную сторону площадки. Теперь предстояла, по нашему мнению, самая ответственная операция: разворот транспортного средства, которое занимало почти всю длину двора задом наперед. Взяв уздечку у самого удила, биндюжник заставлял лошадей вместе с дышлом и передней парой ко-

лес повернуться под острым углом к площадке, затем резким ударом кнута и крепким словом принуждал лошадей сделать рывок вперед — площадка при этом разворачивалась почти на месте и принимала должное положение для выезда со двора. В этот момент мы подходили поближе и молча смотрели умоляющими глазами на него. Он все понимал и спрашивал: "А ваши мамы не заругают меня?". Мы хором отвечали, что наши мамы только и мечтают о том, чтобы дядя биндюжник покатал нас на площадке. Он улыбался, грозил нам пальцем и говорил: "Ну и мастера вы брехать!", затем совершенно непоследовательно командовал: "Влезайте на площадку и садитесь на попону. Кто вздумает встать, получит от меня кнутом!". Площадка с грохотом выезжала в парадный двор, а затем за ворота. Но для нас и этот короткий путь был приятным путешествием.

Любопытные соседки между тем выходили на балконы, критически рассматривали привезенное только что топливо и громко обменивались впечатлениями:

— Мадам Верцман! Вы рассмотрели завоз? И где только люди берут такой сухой лес?

— О чем вы говорите, мадам Глузман, им и в прошлом году завезли такой же.

— А мой привез нам дрова, так они от сырости аж плачут. Мы определенно хорошо померзнем в эту зиму!

— Обратите внимание на уголь, — вступала в разговор мадам Сташкевич, — чистый антрацит, орешек в орешек, это вам не та пыль, которую купил мой Иван Петрович...

Однако все это говорилось беззлобно и даже, в определенной мере, уважительно по отношению к удачливому соседу. Последний тем временем нанимал на углу Большой Арнаутской и Канатной пильщиков, которые быстро распиливали и кололи привезенные дрова на поленья по длине топок голландских печей, которыми отапливался наш дом, дрова заносили в сарай и укладывали их там ровной стеночкой. Толику угля и кучку дров оставляли для Лаврика, который, в завершение, тщательно подметал все следы, включая конечный продукт пищеварения лошадей.

Очень важным представителем "услуг на дому" был продавец керосина. В те времена население варило пищу на керосиновых приборах, доставшихся в наследство от прошлого века. "Грецы" представляли собой, по существу, ту же керосиновую лампу, но с тройным рядом фитилей, а стекло было заменено эмалированным металлическим колпаком с око-

шечком, прикрытым листиком жаростойкой слюды. На вершине колпака был укреплен решетчатый чугунный кружок, на который устанавливалась кастрюля или чайник. "Грецы" очень слабо нагревали емкость с пищей, поэтому приготовление обеда длилось долгие часы. Кроме того, они закапчивали посуду и нередко ароматизировали еду неистребимым запахом керосина. Пришедший на смену им новый прибор — примус — был более совершенен, он был экономичен и удобен в обращении. Недостатком примуса было то, что отверстие в "пистоне", через которое поступал керосин, нагретый до парообразного состояния, со временем прогорало, пламя становилось дымным. Примус чаще всего с домработницей отсылали в мастерскую на углу Канатной с напутственными словами: "Скажи примуснику, чтобы он поставил хороший пистон!". Это выражение неожиданно приняло необычайное значение, от смысла которого у девушек становились пунцовыми щеки...

Во двор заходил человек, коротко звонил в колокольчик, произносил одно лишь слово "керосин" и уходил. Он был уверен, что его товар в рекламе не нуждается. Действительно, из квартиры в квартиру, словно эхо, разносились слова: "Привезли керосин!", десятки рук хватали приготовленные емкости — бутылка, банки, бидончики, на лестницах раздавался топот ног, и у дома собиралась очередь. Керосин отмеривался кружкой, продавец и покупатель дружно отмечали вслух их количество, но чаще всего емкость оказывалась заполненной не до верха. Препирательство было бессмысленно и претензии не принимались — "считали-то мы вместе...". Дело в том, что керосинщики держали кружку так, что большой палец руки находился внутри кружки. По-видимому, они хорошо усвоили закон Архимеда, утверждающий, что тело, погруженное в жидкость, вытесняет такой объем последней, который равен объему погруженного тела. Конечно, большой палец даже у керосинщика был не так уж велик, но если помножить на количество кружек в день, неделю или месяц!.. Керосинщики в то тяжелое время жили безбедно или, по одесской терминологии, — "на большой палец!", что в данном случае приобретало весьма реальный смысл. Что же касается неистребимого запаха керосина, которым они пропитывались насквозь, то, по разговорам, они имели свой отдельный номер в бане, что располагалась неподалеку на углу Новорыбной (Пантелеймоновской) и Новой улиц.

Как-то осенью я переболел одной из распространенных болезней детского возраста — ветряной оспой. Болезнь уже почти прошла, но мама продолжала волноваться, и из нашего скудного бюджета были изысканы

3 рубля на гонорар врачу, и приглашенный родителями наш сосед по Б. Арнаутской доктор Арлюк в назначенное время пришел ко мне с визитом на дом. Посещение частного врача коренным образом отличалось от посещения так называемых рабмедовских врачей (Рабмед — аббревиатура "Рабочая медицина"). Возможно, они были специалистами высокого уровня, но постоянно очень спешили к многочисленным пациентам, потрясая в качестве доказательства пачкой вызовов. Поэтому они уже в передней, еще не успев снять пальто, начинали делать то, что в медицине называется "собираением анамнеза", подойдя к кровати, они уже были полностью готовы к "объективному исследованию" (термин также медицинский), быстрый осмотр завершался объявлением диагноза и назначением нехитрого лечения. И поскольку их вызывали, в основном, для получения больничного листа, то оформлением последнего докторский визит и завершался, и они с удовлетворением покидали квартиру, ощупывая по дороге в кармане пальто честно заработанный рубль. Арлюк в отличие от них никуда не спешил. Сняв пальто, он обратился к маме с просьбой проводить его к рукомойнику. Тщательно вымыв руки с мылом и не менее тщательно осушив их полотенцем, он подошел к кафельной печке и согрел их. Только после этого он принялся меня осматривать: основательно помяв мой живот и постукав пальцем по грудной клетке, что было весьма щекотно и вызвало с моей стороны приступ веселья, на закуску он засунул мне в рот приготовленную мамой ложку и потребовал сказать "А-а-а". После этих процедур он совершенно потерял ко мне интерес и принялся за бабушку и маму. Мама заранее приготовила целый ряд вопросов и уже была готова их задавать, но доктор многозначительно поднял указательный палец, что должно было означать: "Мадам, не торопитесь, я сам все объясню!". Затем из плоского кожаного портсигара достал длинную-предлинную папиросу и с удовольствием, как после тяжелого труда, закурил. Он задумчиво посмотрел на струю дыма и неспешно произнес: "Ничего страшного нет, период реабилитации несколько затянулся, поэтому ребенка надо почаще выводить на свежий воздух, а, главное, правильно питать". Далее он пространно пояснил, что куриный бульон, как известно, является в такой ситуации самым подходящим средством — это вызвало явное одобрение со стороны бабушки, которая была большой специалисткой по части куриного бульона с домашней лапшой. Но далее Арлюк начал подробно объяснять, как надо выбирать подходящую для настоящего случая курицу, и это уже вызвало ее неудовольствие, она поджала губы, как бы говоря, что по части выбора курицы она в советах, пусть даже и

врачебных, не нуждается. А после ухода доктора она вообще заявила: "Я давно говорила, что ребенку необходима курица — зря выбросили три рубля!". Я был счастлив, что закончилось время домашнего затворничества, и мама сказала: "Боря, завтра утром ты пойдешь с бабушкой на базарчик. Держи ее крепко за руку, особенно, переходя через дорогу, — 23-ий несется с огромной скоростью!". Это было явным преувеличением со стороны мамы, к которым она всегда была склонна в воспитательных целях, я это давно понял, но на сей раз это уже слишком! Как раз на углу Канатной и Б. Арнаутской трамвай не мчится, а останавливается, как раз напротив укрепленной на столбе литой металлической дощечки с надписью "Остановка трамвая". И не кто иной как мама терпеливо ждала, пока я по слогам читал все вывески, в том числе и эту табличку. Держать же постоянно шершавую бабушкину руку было для меня не только малопривно, но и просто стыдно. Все встречные мальчики непременно могли подумать: "Этот Борька из кирпичного дома еще молокосос: он ходит по улице, держась за бабушкину руку"...

Мы с бабушкой пересекли улицу перед самым носом трамвая, и я успел разглядеть через переднее стекло усатого ватмана, который носил черную кожаную куртку и кожаную фуражку с серебристым вензелем "ОТ". Такой же вензель был и на упомянутой табличке на остановке. (Вся эта атрибутика досталась в наследство от дореволюционного бельгийско-русского акционерного общества "Одесский трамвай".) Как только мы с бабушкой перешли дорогу, я немедленно отпустил ее руку и остановился понаблюдать, как трамвай будет с остановки трогаться с места. Когда посадка и высадка пассажиров закончилась, кондуктрисса дернула за кожаный ремень, протянутый под потолком вагона к звонку на передней площадке. Услышав этот звонок, разрешавший дальнейшее движение, ватман ногой нажал на шляпку рычажка в полу, и громкий звонок оповестил о начале движения. При этом трамвай сделал как бы выдох — это ватман поворотом маленькой ручки справа выпустил воздух из тормозной системы. Поскольку я в то время мечтал стать ватманом, мои наблюдения имели совершенно профессиональный интерес. Но бабушка ждала, и мне надо было идти с ней рядом дальше, правда, я всячески при этом старался подчеркнуть, что мы идем врозь. Базарчик располагался совсем рядом, на большом пустыре за домом № 4, и тянулся по Б. Арнаутской до Лермонтовки. Он состоял из 4-5 грубо сколоченных столешниц с разными продуктами; бабушка устремилась к тому, где выложили свой товар крикливые женщины, именуемые в народе "куролепчихами". Завидев ба-

бушку, они наперебой стали кричать: "Мадам, подойдите сюда! Эта птица еще утром бегала по двору!". На что бабушка отвечала, что, по ее мнению, это было уж никак не позже позавчерашнего дня... Шумное препирательство, без которого базар — не базар, меня не увлекало, а вид ошипанной с перерезанным горлом курицы был вообще для меня отвратителен. Я повернулся спиной и стал смотреть на массивный серый трехэтажный дом на противоположной стороне улицы — бывшую мебельную фабрику Кайзера. Я слышал в разговорах взрослых, что мебель Кайзера высоко ценилась и в России, и за рубежом. Самого Кайзера давно не было (наверное, уехал домой в Германию), но фабрика продолжала работать, о чем свидетельствовал доносящийся до базарчика вой циркулярной пилы и другие производственные шумы. Если бы я тогда знал, что стою на том самом месте, где потом построят мою школу, в которой и пройдет моя счастливая юность!.. Тем временем бабушка купила все необходимое для моего лечебного питания, и мы отправились домой.

Гуляя с мамой, мы нередко направлялись с ней в противоположную от базарчика сторону — к вокзалу, который был хорошо виден в конце Пушкинской. По его часам сверяли время все жители Одессы: сигналы точного времени тогда еще не передавались по радио, да и радио в городе фактически еще не было. Мы неизменно делали остановку у большого четы-



рехэтажного здания бывшей табачной фабрики Попова (в то время имени украинского старосты Г.И. Петровского), и я с восхищением наблюдал сквозь широкие окна за работой автоматов, из которых непрерывной лентой выходили туго набитые табаком известные далеко за пределами нашего города папиросы "Сальве". Картонная коробочка желтого цвета с наклейкой, на которой была изображена папироса в разрезе так, чтобы был виден фильтр, установленный внутри, являлась одной из визитных карточек Одессы, равно как и изображение Воронцовского маяка, Потемкинской лестницы или Оперного театра. В послевоенные годы на месте табачной фабрики расположился Центральный универмаг.

Вокзал был большой и красивый. Подобно огромной букве "П", он охватывал все железнодорожные пути. В его левом и правом крыле размещались большие залы для пассажиров, причем, еще сохранились следы деления пассажиров на классы: первому и второму классу были предоставлены залы правого крыла, что явствовало из таблички, сохранившей упраздненные после революции буквы "и с точкой" и "ять". Здесь стояла удобная и красивая мебель, имелся вход в ресторан и отдельный выход на перрон. Залы по левую сторону были попроще и предназначались для пассажиров третьего класса. Как известно, одним из первых актов новой власти было упразднение деления пассажиров на классы, поэтому в то время, когда мы с мамой прогуливались по вокзалу, во всех залах было одинаково шумно и не очень чисто. Широкие платформы вокзала были крытыми, крыша напоминала вплотную подогнанные друг к другу створки огромных раковин. Ни дождь, ни снег, ни палящие лучи солнца не были страшны пассажирам и железнодорожникам. Выход на перрон был платным, это, видимо, было тоже заимствованно из дореволюционных времен, от которых остались и автоматы по продаже перронных билетов — на них красовались литые таблички: "Императорские железные дороги". У двери на перрон стоял контролер в железнодорожной форме, он придирчиво проверял билеты и настойчиво предупреждал, что хранить их надо вплоть до окончательного выхода с вокзала. Действительно, на выходе они проверялись не только у встречающих, но и у прибывших поездом пассажиров.

Меня, прежде всего, привлекала первая платформа, на нее выходили окна и двери дежурного по станции, рядом с которыми висел большой колокол. Через окна была видна на стене большая схема станционных путей, под ней находились длинные рычаги, которые посредством стальных тросиков и блоков соединялись с семафорами, установленными на входных путях. В то время, когда дежурный тянул рычаг на себя, тросики при-

ходили в движение, и если посмотреть в этот момент с платформы на железнодорожное полотно, то было заметно, как рука семафора поднималась вверх, что означало "путь свободен". На столе находился поблескивавший золотистого цвета деталями аппарат Морзе. Внезапно он оживал, и из него начинала ползти белая лента с точками и тире. Дежурный внимательно читал, что такой-то состав вступил на последний перегон и, следовательно, через несколько минут прибудет на станцию "Одесса-Главная". Он надевал свою фуражку с ярко-красной тульей, выходил на перрон и звонил в колокол. Заслышав этот сигнал, носильщики устремлялись к соответствующей платформе, а за ними и все встречающие сосредотачивались там же.

В прибытии поезда была своя особая прелесть, недаром изобретатели кино братья Люмьер посвятили ему один из своих первых фильмов. Паровоз ярче всего олицетворял время конца XIX — начала XX веков — время угля, стали и пара. Хорошо известно, что он мало экономичен и экологически неблагоприятен, но для тех, кто видел, как паровоз в клубах пара, поблескивая всеми своими шатунами, огромными колесами и прочими деталями, с громким гудком торжественно въезжает на станцию, становилось понятно, что именно он был и остался символом ушедшего славного прошлого.

Пассажирский состав в то время тянул паровоз марки "СУ" (Сормовский — усиленный), тем не менее, по современным меркам, поездка продол-



жалась очень долго (48 часов до Москвы, но со временем продолжительность поездок сокращалась, и в 40 г. поезд добирался до Москвы за 24 часа).

Пассажирские вагоны "николаевской" постройки были жесткими в самом прямом значении этого слова, поэтому неудивительно, что в те времена пассажиры запасались в дорогу не только провизией, но и постельными принадлежностями: подушкой, легким матрасиком или периной и одеялом. Все это скатывалось в тугий сверток, который перетягивался двумя брезентовыми ремешками с деревянной ручкой между ними. В дорогу нередко брали и металлический чайник, который можно было наполнить кипятком на любой станции из крана специальной "кубовой".

Но вот пассажиры покинули вагоны, перрон опустел, вышли и мы с мамой через залы третьего класса на Куликово поле. Когда здание вокзала восстановили после разрушений, причиненных войной, на месте этого левого крыла были проложены дополнительные пути и сооружены платформы. Пропускная способность, конечно, увеличилась, но архитектурная гармония сооружения была утеряна.

Слева от вокзала, в самом начале Земской улицы, размещался кинотеатр с соответствующим времени официальным названием "Пролетарий", в народе же по-старому — "Бомонд". Это дореволюционное название надолго закрепилось за ним, хотя на деле никаких признаков высшего света в нем не наблюдалось, а, напротив, всегда было неуютно и грязно. Этот кинотеатр пользовался популярностью у двух категорий зрителей: у пассажиров железной дороги и у школьников близлежащих школ, здесь они с удовольствием отсиживались во время очередного прогула занятий, и это тоже называлось по старинке, по-гимназически — "править казенку". Дирекция "Бомонда", видимо, знала о своеобразии контингента посетителей и начинала крутить фильмы с 8 утра. Демонстрация немых фильмов сопровождалась игрой на пианино тапера, удачно подбиравшего музыкальное сопровождение к событиям, происходящим на экране. Это требовало и умения, и несомненной склонности к импровизации. Как правило, демонстрировались боевики: например, "Акулы Нью-Йорка", где главный герой Аллан на протяжении 4 серий вызволял из рук бандитов свою невесту Люси; либо "Королева лесов", где аналогичным способом, на сей раз наоборот, уже героиня освобождала из плена мужчин; либо несравненный Дуглас Фербенкс в фильме "Знак Зорро", либо, наконец, комедии с участием Игоря Ильинского...

Мы с мамой миновали большое здание дореволюционной Земской управы, от которой улица и получила свое название, благополучно дошли

по ней до Б. Арнаутской и оказались вблизи нашего кирпичного дома, завершив очередную прогулку по городу.

В следующий раз мы направились в центр города. Мы сели в 23-ий номер трамвая, и мне удалось занять место у окна справа, ведь именно из него будут видны Сабанские казармы, к которым у меня был свой, всем мальчишкам понятный интерес. Вопрос платы за проезд за меня был давно разрешен: у передней двери была отметка, определявшая рост ребенка, за которого платить не надо, но еще год назад, заняв место под отметкой, я не без гордости услышал от кондуктриссы: "Ишь ты, уже почти жених, а норовит проехать без билета". Сабанские казармы интересовали меня отнюдь не потому, что были памятником архитектуры, а по той простой причине, что из многочисленных окон, находившихся между колоннами, обычно выглядывали солдатские головы в буденовках. Действительно, вскоре трамвай снизил скорость, пересекая старые пути первого в Одессе трамвайного маршрута, проложенного к торгово-промышленной выставке в парке еще в 1910 г. К моей радости, в этот день из окон Сабанских казарм выглядывало множество красноармейцев. Наступал самый ответственный момент: я начал приветствовать их, размахивая обеими руками, и, представьте себе, многие отвечали мне тем же, а один даже приложил руку к буденовке, отдавая честь. Я почувствовал себя чуть ли не наркомом Ворошиловым, принимавшим парад на Красной площади, как было изображено на одной фотографии из журнала "Огонек". Однако долго упиваться славой мне не пришлось, вагон свернул на Греческую и приблизился к Строгановскому мосту. Это был самый большой мост в Одессе, переброшенный сразу через две улицы: спуск Левашова и Польский, по которому проходил трамвай № 22 в порт. С моста отлично была видна вся акватория бухты, мое внимание раздваивалось: прежде всего, необходимо было сосчитать корабли, стоящие на рейде, но никак нельзя было пропустить при этом захватывающий момент, когда 22-ой буквально нырял под мост, по которому в этот момент двигался 23-ий, в котором находился я. Кораблей было в тот день не так уж много, но о захватывающем двухэтажном движении трамваев я еще долго потом рассказывал друзьям.

Следующим интересным для наблюдения объектом была Греческая площадь — настоящий центр трамвайного движения тех лет. Здесь начинались и заканчивались маршруты на Большой Фонтан, в Люстдорф и Аркадию, на Куяльницкий лиман, Пересыпь и Лузановку. Поэтому по обеим сторонам круглого дома были два трамвайных павильона, а трамвайные пути распадались здесь на множество веток. Наш трамвай сделал

здесь остановку, и я успел заметить на соседних путях пульман с пульмановской прицепкой № 18, следовавший на Б. Фонтан, и №№ 17 и 25, следовавшие в Аркадию, но разными маршрутами — по старой и новой Аркадийским дорогам.

Далее 23-ий продолжал движение по Греческой, сворачивал на Преображенскую, проезжал мимо большого Собора и огибал Соборку, попадая на Садовую. Мы приближались к цели нашей поездки — к цирку, где нас уже ждал папа. Был воскресный день, и поэтому специально для детей давали дневное представление. Я взял у папы билеты и сам предъявил их контролеру, после чего мы направились в сторону арены. Здесь нас встретил приветливый человек в коричневой форме, отделанной зеленым, — капельдинер по фамилии Березин, которого я уже запомнил по прошлым посещениям цирка. Он обратился ко мне как к старому знакомому: "Здравствуй, мальчик! Как хорошо, что ты пришел сегодня, ведь к нам приехал сам дедушка Дуров со своими дрессированными зверями. Сейчас я тебя усажу на самое лучшее место!". И он повел нас в ложу, куда папа накануне купил нам билеты. Я поинтересовался у мамы, откуда капельдинер Березин знает, что у нас самые лучшие места, на что она несколько загадочно ответила: "У него, наверное, тоже есть сын, которого он любит, поэтому ласково относится ко всем маленьким мальчикам". Действительно, через 45 лет ко мне в кабинет вошел посетитель, представившийся Ефимом Березиным. Это был известный эстрадный артист, выступавший с Юрием Тимошенко в популярном дуэте "Тарапунька и Штепсель", сын того самого заботливого капельдинера. Как любящий и заботливый сын он неотлучно находился в палате своей тяжело больной матери в течение полутора месяцев ее пребывания в нашем урологическом отделении. На мой вопрос, почему он не увезет родителей к себе в Киев, он ответил, что его отец не представляет себе жизнь без одесского цирка. Потом я еще долго получал поздравительные открытки, подписанные традиционным приветствием Тарапуньки и Штепселя: "Здоровеньки булы!".

Появление дедушки Дурова было захватывающе интересным. В антракте работники манежа собрали на арене узкоколейный железнодорожный путь, уходящий за кулисы. Рядом установили небольшое здание железнодорожной станции с медным колоколом. После того как включился яркий свет прожекторов, из-за занавеси под звуки бравурного циркового марша на арену выехал поезд, состоявший из паровоза и трех вагонов. Из трубы паровоза вырывались клубы пара, а шатуны и рычаги двигались точно так, как у его собрата — настоящего паровоза на вокзале. Все ваго-

ны были заполнены различными зверюшками, машинистом была смысленная обезьянка в форме железнодорожника, которая подавала, как положено, приветственный гудок, потянув за специальный шнурок. Ученый гусь подбежал к колоколу и ударом возвестил о прибытии поезда. На тендере паровоза сидел седовласый старик в ярко-красном, расшитом золотыми нитями жилете и таких же бриджах до колен, в белых чулках и лаковых туфлях. Он ловко спрыгнул с паровоза, галантно приветствовал зрителей, встретивших его бурными аплодисментами. Затем он дал команду, услышав которую, его воспитанники выбежали или выпрыгнули из вагонов и заполнили всю арену. Кого тут только не было! Петухи и куры, маленькие собачки, ежики и даже голуби. Все, что они дальше делали на манеже, было чудом дрессировки и выполнялось без всякого принуждения и палки. Перегруженный впечатлениями от посещения цирка, я в сопровождении родителей вышел на Садовую, дальше мы отправились с мамой в сторону Соборной площади. Следующим объектом моего наблюдения был Главпочтамт. Пока мама писала кому-то письмо, я внимательно следил за процедурой отправки телеграммы. Сотрудница опускала телеграмму в специальный металлический прямоугольный ящик, он двигался на колесиках по рельсам, которые тянулись под потолком и уходили от ее стола через отверстие в стене в аппаратный зал. Когда она нажимала кнопку, начинал жужжать моторчик, и этот самоходный почтово-телеграфный ящик довольно быстро доставлял только что поданную телеграмму к аппарату для немедленной передачи ее по назначению. Еще один квартал по Садовой — и открывалась панорама Соборной площади. Храм еще был цел, и над площадью слышался перезвон колоколов. По аллеям Соборной площади лихо катили маленькие лакированные экипажи, запряженные козликками, на которых катались детишки, но эту забаву я уже перерос. Вдоль площади напротив аптеки Гаевского была "Биржа извозчиков", доживавшая в те годы свои последние дни. Когда извозчика спрашивали, почему он требует такую большую плату за проезд, он обычно отвечал, что овес, столь необходимый лошадям, заметно подорожал. Бессмертная фраза из романа моих земляков И. Ильфа и Е. Петрова — "Овес нынче дорог!", — очевидно, была почерпнута ими из лексикона все тех же одесских извозчиков. Да и как им было тягаться с трамваем, за проезд на котором требовалось уплатить копейки! К тому же именно в эти годы в Одессе появились первые городские автобусы, закупленные в Германии. Они, помню, были снежно-белого цвета, на фоне которого ярко выделялись облицовка радиатора и дверные ручки из полированной латуни. Но зато в

зимнюю пору извозчики брали реванш. Они перепрягали Саврасок, Орликов и Машек из дрожек в городские прогулочные санки, и тут уж родителям было не устоять перед настойчивыми требованиями любимого чада: "Хочу покататься на санках!". Усадив пассажиров, извозчик заботливо укутывал им ноги меховым покрывалом, скорее всего, из козлиной шкуры, которое он называл не иначе как "медвежья полость", затем он взбирался на козлы, щелкал кнутом и говорил: "Но, милая!". Лошадка довольно резво бежала по заснеженной Дерибасовской, сворачивала на Ришельевскую или Пушкинскую и далее следовала до вокзала. Весь этот путь был не только исчерчен следами узких полозьев санок, но и усыпан множеством лошадиных яблок — это лакомство очень нравилось нахальным одесским воронам. Они до сих пор продолжают гнездиться на деревьях вдоль всей Ришельевской и Пушкинской, хотя дрожки, санки и извозчики давно исчезли из панорамы нашего города.

На некотором удалении от Собора, как раз напротив Греческой стоял старинный небольшой фонтан, из которого вялой струйкой вытекала вода. Когда же собор был разрушен, то на его месте был сооружен другой фонтан, мощные струи которого празднично освещались разноцветными прожекторами. Место между фонтанами, старым и новым, было облюбовано одесскими футбольными болельщиками. Среди болельщиков были свои знаменитости (оказывается, можно достичь огромной популярности, даже не прикасаясь к мячу), чему примером была колоритная фигура азартного болельщика Гроссмана, на которого ссылались, цитировали и даже старались подражать.

Напротив храма, как и теперь, сохранился памятник Воронцову, правда, после революции на его постаменте высекли уничижительные слова эпитафии Пушкина: "Полумилорд — полукупец..." и т. д. Дальше виднелась главная аптека города — аптека Гаевского, которая особенно эффектно была в ночное время: в больших окнах за зеркальными витринами были установлены метровой высоты стеклянные вазы, доверху наполненные цветными растворами — красным, синим, желтым, а рядом из блестящих золотистых чаш что-то пытались выпить изящно изогнутые змеи.

На Преображенской и Дерибасовской, там же, где и ныне, находилась большая гостиница "Пассаж" с большим количеством разных магазинов на первом этаже, самый большой из них — угловой — спустя 10 лет был назван "Гастрономом № 1". В то время, когда мы гуляли с мамой, в магазине уже было пусто: вслед за изобильными годами нэпа надвигалась голодная пора, о которой я расскажу позже. У входа в этот магазин издав-

на стояла тумба для наклейки афиш, позже рядом с ней был вкопан высокий столб, на котором укрепили первые в Одессе электрические часы. С тех пор одесситы и одесситки, уславливаясь о свидании, говорили просто: "Встретимся под часами", и всем было понятно, какие часы имелись в виду. Рядом с часами долгое время стоял один из асфальтировочных котлов, знаменательных тем, что вокруг них группировались беспризорники. Деньги на пропитание они добывали самым неблагоприятным образом, и однажды, когда мы с мамой и папой ждали сеанса в кинотеатре Уточкина, босой и чумазым мальчишка, одетый в рваный клифт, вырвал из маминых рук продолговатый ридикюль, начиненный всякой необходимой для прогулок мелочью. Он кинулся к дружкам, поджидавшим его возле котла, но мой папа довольно быстро погнался за ним, и воришка вынужден был бросить свой трофей на свежеекатанный асфальт.

Наша прогулка с мамой продолжилась по Дерибасовской, и вскоре мы дошли до места, где между Красным переулком и Екатерининской размещался магазин "Лаборреактив" (в годы войны это здание было разрушено, а после войны там обустроили летний кинотеатр). Упоминаю об этом магазине, т. к. именно в нем я впервые соприкоснулся с одним из предметов, с которыми в дальнейшем постоянно имел дело, полвека занимаясь урологией. Пока мама выбирала очередной термометр, "без которого ни одна культурная семья, — по ее мнению, — не может существовать", я осмотрелся и увидел большую, сплетенную из тонких деревянных полосок



корзинку, в которой лежали резиновые гладенькие красные трубочки. Мне очень захотелось пополнить одной из них свою коллекцию интересных вещичек...

Когда мы вышли из магазина и отошли от него шагов на десять-пятнадцать, мама заметила, что я размахиваю каким-то предметом (это и была одна из упомянутых трубочек). Она остановилась и строго спросила: "Откуда э т о у тебя?". Я чистосердечно признался, где и для чего э т о взял. Решив ее успокоить, я добавил, что там э т о г о осталось еще очень много. Моя мама, которая в вопросах воспитания, как я позже понял, напоминала армейских политработников, которые тоже считали, что воспитательная работа должна проводиться в любых условиях и в любое время — и до, и после, и даже во время боя, — тут же посреди Дерibasовской начала меня воспитывать, используя предоставленный в ее распоряжение прецедент.

— Ты знаешь, как называется то, что ты сделал?

— Н-е-е-т!

— Это называется в о р о в с т в о м. Ты представляешь, к каким последствиям это может привести?

— Н-е-е-т!

— В результате какой-нибудь больной может не получить необходимую помощь и даже умереть.

— Что же делать?

— Думаю, что надо срочно вернуть этот украденный тобой предмет.

— Так давай же, мама быстро его вернем!

— Нет, дорогой, ты воровал, ты и возвращай!

Сказав это, мама демонстративно начала рассматривать одну из витрин, которых на Дерibasовской полным-полно. Я же поплелся к магазину, сочиняя в уме фразу, с которой обращусь к продавцу. Между тем обстановка в магазине изменилась. С продавцом беседовал какой-то очень высокий шумливый человек, который слегка картавил и оживленно жестикулировал. Судя по тому, как продавец уважительно обращался к нему, чувствовалось, что Мирон Наумович (именно так он его называл в разговоре) был его начальником — т. е. директором магазина. Увидев меня, Мирон Наумович удивился и сказал:

— Что тебе, мальчик? Мы детям медицинское оборудование не продаем.

— Я только что покупал с мамой термометр и н е ч а я н н о унес с собой вот эту трубочку.

— Это не трубочка, а катетер Нелатона, который... впрочем, тебе рано

еще знать, для чего он используется. Ну, и что же ты хочешь?

— Я хочу его вернуть и извиниться.

Мирон Наумович задумался всего лишь на мгновение, сразу понял, что мое необычное появление есть особый воспитательный прием, придуманный моей мамой (взрослые проявляют высокую солидарность в этих вопросах), и тут же подхватил эстафету:

— Раз ты взял катетер Нелатона н е ч а я н н о, я не стану звонить и сообщать об этом в милицию, но тебе придется дать обещание, что подобное никогда в твоей жизни не повторится!

— Я уже дал такое обещание маме.

— В таком случае, положи катетер в корзину и ступай!

— Извините, Мирон Наумович, до свидания!

Говорят, что мир тесен и, наверное, это действительно так. Через 5-6 лет после случившегося, когда я был в гостях у своего школьного приятеля Гриши Гольденберга, он познакомил меня со своим отцом, оказавшимся упомянутым Мироном Наумовичем. Я напомнил ему об этой истории, но он, к сожалению, ничего не помнил и только сказал, что на месте моей мамы не стал бы церемониться, а тут же на Дерibasовской просто всыпал бы мне по одному месту как следует.

Одним из самых примечательных мест нашего города всегда был Приморский бульвар и площадь, обрамленная полукруглыми домами, где стоит памятник дюку де Ришелье. От подножия памятника начинается знаменитая Потемкинская лестница. Стоя с мамой на ее верхней площадке, я любовался картиной бухты и порта и, конечно, Воронцовским маяком. При этом я думал, что, возможно, именно в этот момент какой-нибудь иностранный моряк в бинокль рассматривает "морские ворота Одессы", восторгаясь красивейшим архитектурным ансамблем площади. В зрелом возрасте, возвращаясь из туристических поездок, и я неизменно испытывал эти чувства. Нигде в мире видеть подобное мне не приходилось. "Морские ворота Одессы" выглядели ничуть не хуже, чем знаменитая Стрелка Васильевского острова в Петербурге с ростральными колоннами и зданием биржи. Приходится сожалеть, что современные одесские градостроители, очевидно, этих чувств не испытывают. Иначе никак нельзя объяснить тот факт, что очень красивое и нужное современное здание высотной гостиницы они расположили так, что оно почти полностью закрывает с моря "морские ворота Одессы". Им бы перенять опыт архитекторов Афин, Рима, Египта и др., которые оберегают каждый, даже небольшой памятник старины, будь то полуразрушенная колонна или языческий храм.

Справа от бульварной лестницы поднимались и опускались небольшие вагончики "Электрической подъемной железной дороги" — фуникулера. Именно такая вывеска была на верхней станции, Она была выкрашена в зеленый цвет и напоминала чем-то сказочную избушку, затерявшуюся в гуще ветвистых деревьев. Мы заняли места в вагончике, причем я постарался сесть в то купе, из которого был виден весь путь и вагончик, стоявший на нижней станции. Мама рассказывала, что необходимость в фуникулере возникла после того, как в начале XX ст. неподалеку от подножия бульварной лестницы было открыто "Заведение теплых морских ванн" (позднее аналогичные были выстроены в Аркадии и на 10 ст. Большого Фонтана), услугами которого пользовались не только одесситы, но и многочисленные курортники, в основном люди пожилые и больные. Вот для того и был выстроен фуникулер, чтобы облегчить им подъем в центр города после лечебных бальнеологических процедур.

После звонка, подаваемого кондуктором нижнего вагончика, означавшего, что там закончилась посадка и закрыты раздвижные двери всех четырех купе, начиналось плавное и совершенно бесшумное движение вагончиков навстречу друг другу по однопутному пути. В тот момент, когда мне казалось, что их столкновение неизбежно, они расходились на специальном разъезде: один — вправо, другой — влево, и дальше продолжали путь по однопутке до станции назначения... Как раз над тем местом, где пути раздваивались, был переброшен пешеходный мостик, стоя на котором, я не раз сверху наблюдал захватывающе интересную для меня картину движения вагончиков фуникулера.

Работой фуникулера управлял машинист, находившийся в стеклянной будке на верхней станции. Впереди нее был установлен специальный большой барабан, на который наматывался и одновременно сматывался толстый стальной трос, обильно покрытый жировой смазкой. Один конец троса был прикреплен к правому вагончику, а другой — к левому. В зависимости от того, какой цикл подъема совершался (подъем правого или левого вагончика), барабан изменял направление своего вращения. Все это казалось простым даже для меня, семилетнего мальчика. Тревожил меня лишь один вопрос: что будет, если трос вдруг порвется? Именно об этом, набравшись храбрости, я однажды спросил у машиниста фуникулера. Узнав, что перед ним стоит "будущий ватман", он дал исчерпывающий ответ. Оказывается, трос крепится не просто к вагончику, а к специальным клещам, они скользят по рельсам, увлекая вагончик в нужную сторону на разъезде, однако, если трос разорвется (а этого еще никогда не было), кле-

щи сомкнутся и с огромной силой зажмут рельс, и это остановит вагончик. Кроме того, кондуктор ручным тормозом дополнительно обеспечит надежность аварийной остановки. Я был полностью удовлетворен ответом, и мы дружелюбно распрощались.

Доехав до нижней станции, мы с мамой вышли и посмотрели наверх: лестница казалась еще более протяженной, чем при обозрении сверху. Мама, как всегда, оказалась на высоте и тут же объяснила мне этот архитектурский прием: оказывается, ступени в направлении наверх сделаны короче, и это зрительно увеличивает высоту лестницы. Памятник Дюку был отлично виден, он, отведя бронзовую руку в сторону, как бы провозглашал: "Добро пожаловать в Одессу!". И следуя этому приглашению, мы с мамой стали подниматься по лестнице. Примерно посередине нашего пути располагался на каменной террасе детский "Луна-парк", вырубленный в склоне. Там были различные аттракционы, специальное кафе для детей и, что самое интересное, вольер, в котором резвились веселые маленькие медвежата... Пройдя затем по уже описанному ранее мостику, мы оказались во второй половине "Луна-парка", разделенного лестницей и фуникулером на две части, и направились к зданию бывшей Думы, пушке с корабля "Тигр" и памятнику Пушкину.

По дороге домой мы миновали еще два очень известных в городе сооружения: Археологический музей и Оперный театр, в каждом из которых мне очень хотелось побывать, но мама неизменно говорила, что я еще должен немножко подрасти и повзрослеть. И вот уже незадолго до того, как я начал посещать школу, она сочла возможным сводить меня в эти загадочные учреждения.

В Археологическом музее я впервые ощутил себя ничтожно малой частичкой истории. Подумать только, люди жили на этом берегу Черного моря еще тогда, когда не только не было паровозов и пароходов, но даже самого нашего города! Интересно, существовали ли и тогда любопытные мальчики, которые, подобно мне, хотели бы все знать... И узнаю ли я об этом на уроках истории... Поскорей бы начались занятия в школе, думалось мне...

Посещение оперы вызвало во мне совсем иные эмоции. Уже буквально с порога я ощутил, что попал в совершенно непривычную обстановку. Публика не суетилась, как-то особенно степенно показывала контролеру билеты и торжественно направлялась к многочисленным гардеробам. Чувствовалось, что у них у всех приподнятое настроение, какое бывает в предвидении какого-то необычайного зрелища. Ничего похожего на то, что я видел в кинотеатрах: ни толчеи, ни громких выкриков, ни бесцере-

монного протискивания вне очереди. Обращаясь друг к другу, все были изысканно вежливы.

Эти настроения приумножились, когда мы сделали первые шаги по ослепительно красивой парадной лестнице, обрамленной цветными мраморными перилам, на которых возвышались светильники в виде красивых бронзовых фигур. Но и эта красота померкла, когда через небольшую дверь мы вошли в ложу, и я увидел внезапно залитый светом и сверкающий золотом весь зал. Влево и вправо уходили полукругом ряды лож, и на каждом этаже они были оформлены по-разному. Над каждой висел матовый светильник. С потолка, расписанного картинами, свисала огромная люстра с сотнями лампочек. Красный бархатный занавес, расшитый золотыми нитями, отделял зал от сцены, а под рампой, в оркестровой яме, сидели музыканты. Они настраивали инструменты и извлекали при этом нестройные звуки, что было по-своему красиво и многообещающе.

Наконец все зрители заняли свои места, и свет в зале начал постепенно тускнеть, а занавес еще ярче осветился прожекторами. В это время публика начала активно откашливаться, будто ей самой предстояло петь, а не слушать, как поют артисты. Внезапно в центре оркестровой ямы появился человек во фраке с тоненькой палочкой в правой руке, который стал в центре оркестровой ямы спиной к залу, — это был известный дирижер по фамилии Прибик. Публика встретила его аплодисментами, и тогда он повернулся к ней лицом и всем поклонился, затем, обратившись вновь к оркестру, он взмахнул палочкой, и в зал полилась исключительно красивая мелодия, которая никого не могла оставить равнодушным, в том числе и меня. То была увертюра к опере "Кармен". После ее исполнения дирижер вновь повернулся к залу и поклонился в ответ на аплодисменты публики, благодарившей его и оркестр за прекрасную игру.

(И снова, как говорилось уже не раз, мир оказался тесен, и много лет спустя моим пациентом оказался любимый ученик Прибика — Николай Дмитриевич Покровский, сменивший своего учителя на посту главного дирижера Одесского оперного театра. Николай Дмитриевич оказался очень приятным, общительным и веселым собеседником, и много мне тогда среди всего прочего рассказывал и о театре, и о Прибике. В больнице его навещали жена и сын — Игорь, который оказался соучеником моей дочери по школе Столярского и которого я теперь часто вижу и слышу в телевизионных передачах канала "Новая Одесса".)

Медленно раздвинулись половинки бархатного занавеса (первый, расшитый золотом, подняли вверх раньше), и я оказался в испанском го-

роде Севилье и в течение нескольких часов соперничал всем героям этой удивительной, тогда впервые мною услышанной и увиденной оперы. Поступки и переживания героев были для меня понятны, хотя я не всегда понимал смысл доносившихся слов: этому помогала музыка и, конечно, мамины пояснения. Когда бедняжку Кармен убил отчаявшийся Хозе, я заплакал и не скрывал своих слез, а когда в зале вслед за этим зажегся свет, я был отчасти реабилитирован — у многих женщин в зале глаза покраснели от слез, подобно моим.

Возможно, некоторые читатели будут упрекать мою маму за то, что она преждевременно приобщила меня к человеческим трагедиям. Если так, то совершенно напрасно, ведь и народные детские сказки часто описывают трагедийные ситуации, и в народе издавна верили, что именно ребенок в самом раннем возрасте способен отличить добро от зла.

Посещение оперного театра позволило мне понять, какую особую роль играет музыка в жизни человека, как помогает она восприятию внешнего мира и происходящих в нем подчас непонятных явлений.

Между тем до начала занятий в школе оставалось совсем немного времени, пора было заняться экипировкой будущего первоклассника. Всей семьей мы отправились в магазин "Два слона" (в его торговом зале в то время стояли сделанные из папье-маше два слона полутораметровой высоты, их давно уже нет, но название магазина сохранилось до наших дней), в котором помимо игрушек продавались предметы, необходимые школьнику. Выбор ранца был предоставлен папе, он остановился на добротном вкусно пахнувшем кожей изделии, не забыв проверить на нем регулировку ремней — "мальчик быстро растет!". Затем была куплена чернильница-невыливайка, флакон фиолетовых чернил, пенал для карандашей, ручек, перьев и резинок — "карандашной" и "чернильной" — и, наконец, стопочка тетрадок. В соседнем магазине были приобретены некоторые предметы одежды, в первую очередь, ботинки московской фабрики "Скороход" и к ним калоши фабрики "Красный треугольник", так как, по словам бабушки, "...ботинки под этим мальчиком буквально горят!". Хотя школьная форма еще не была введена, мама настояла на том, чтобы я примерил верхнюю рубашку из плотной ткани с нагрудными карманами и к ней замечательный кожаный пояс, "...может быть, хоть это его как-то дисциплинирует!".

Увы, запаса добротных тетрадок хватило ненадолго. Уже в следующем, 1930 году, начался период так называемых "временных трудностей". Постепенно выбор товаров, как продовольственных, так и промышлен-

ных, в магазинах становился все более и более скудным. Тетради стали делать из зеленоватого цвета низкосортной бумаги, поверхность которой была волокнистой и шершавой; перо № 86, специально предназначенное для того, чтобы писать с правильным нажимом, т. е. меняя толщину линий в зависимости от начертания букв и цифр, постоянно цеплялось за невидимые препятствия, разбрызгивая чернила и оставляя множество клякс. Жизнь становилась все более и более трудной, но я этого тогда по малолетству еще не осознавал.

Утром 1 сентября 1929 года мама, как всегда, проверила, достаточно ли я добросовестно помыл шею и уши, надела на меня новую рубашку, помогла туго затянуть ремень и укрепить на спине ранец, и мы отправились первый раз в школу. Обычного ныне церемониала с цветами, подарками педагогам и первым звонком тогда не было, и быть не могло. Мама перевела меня через трамвайные пути на Канатной, затем остановилась и сказала: "Дальше пойдешь один. Думаю, что то, что я вложила в тебя, принесет достойные плоды! Учись хорошо! Днем, когда будешь возвращаться из школы, я на этом месте тебя встречу". Она на прощание поцеловала меня, и я пошел... Правда, поворачивая голову, я еще долго видел ее на том месте, где мы расстались. Закончилось мое детство, и наступила непростая пора отрочества...

Окончание следует



Helen

Я увидела ее впервые почти полвека назад. Я возвращалась из школы и на углу Большой Арнаутской и Канатной заметила идущую навстречу женщину, каких в нашем убогом послевоенном детстве видеть мне не приходилось. В ней было что-то не отсюда, не из этих краев. Думаю, она не заметила моего восторженного взгляда, ее синие с фиалковым оттенком глаза были обращены внутрь и не замечали ни грязного тротуара, ни вывороченного нутра черного хода продовольственного магазина, выброшенных ящиков из деревянных реек, при виде которых на руках немедленно возникали ссадины, ни замасленных черных бочек. Она прошла мимо меня, я заворожено оглянулась вослед, рассматривая уже со спины ее пальто, ее шляпу. (Когда через много лет я буду рассказывать ей об этом первом "свидании", описывать ее пальто и шляпу, их фасон и цвет, она, улыбнувшись своей неповторимой улыбкой, подивится моей памяти, а я буду ссылаться не на память, а на первое же произведенное ею впечатление, поразившее мою детскую душу.)

Пройдет еще какое-то время, и я узнаю, что эта женщина — мама девочки, появившейся недавно в нашей школе, в параллельном классе, также поразившей меня при первой же встрече своей "нездешностью". Еще издали я увидела летящую походку девочки, одетой в светлое пальто с золотистым цигейковым воротником, так чудесно оттенявшим персиковую кожу ее лица, зеленые, как крупные виноградины, глаза и чуть рыжеватые волосы. Волосы сразу вызвали чувство восхищения и зависти. Мы все ходили с косичками, туго затянутыми в "мышинные хвостики", а если кто и носил стрижки, то это были чаще всего какие-то сиротские, вызывавшие скорее жалость оголенными затылками, беззащитные головки. У незнакомой девочки была стрижка принца из легендарной "Золушки" с Яниной Жеймо — челка, и на плечи спускавшаяся волна волос!

И при первой встрече, и при второй я еще не знаю, что судьба подарит мне долгую, на всю жизнь, дружбу и с этой девочкой, Линой Шац (уже много лет как она своим поэтическим, художественным талантом известна интеллектуальной Европе как Evelina Schatz, и, увы, осталась так мало нас, тех, кто по праву любви и дружбы с детских и юношеских лет называет ее домашним именем — Лина), и с ее мамой — Еленой Осиповной Мюллер, Helen, как называли ее в семье, да и со всей этой удивительной семьей, при воспоминании о которой я повторяю лермонтовскую строчку: